

Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Медвежий угол
(Из сборника "Встречи". (Очерки и рассказы))

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0018
III.....	.0031
IV.....	.0043
V.....	.0056
VI.....	.0066

Медвежий угол

Очерк

Раннее летнее утро. В воздухе чувствуется бодрящая свежесть, заставляющая вас молодеть. Кругом все залито ликующим светом и зеленеющей радостью; омытая ночью дождем трава кажется покрытой лаком, и каждый придорожный кустик топорщится как именинник. В стороне пестрят траву безыменные цветики, точно детские глазки. А какой воздух!.. Он опьяняет одуряющим ароматом горного шалфея, душицы и других пахучих трав. В голове еще бродит просонье, а тело чувствует себя так бодро, точно вот взял да стряхнул с себя лишних десять лет, городское сидение и застоявшуюся кровь. Поездка верхом сама по себе освежает, а тут еще развертывающийся горный ландшафт, заплетающая ноги крепкая и цепкая трава, мерное покачиванье в седле. Моя серая лошадка неизвестной породы выступает так бодро и по пути ловко схватывает верхушки травы, листочки рябины и жимолости. Положим, хода у ней нет никакого, но я на первых двух верстах понял, что мой конек лучше всего идет

«цыганской торопью», как-то мудрено перебирая ногами и взмахивая головой, чтобы выпростать поводья. Наездник я плохой и вдобавок побаиваюсь, как бы мой серый не запнулся где-нибудь в камнях или в мочажине, прикрытой для неудобства разъехавшимися и осклизлыми мостовинами.

— Не отставайте, — говорит догоняющий меня старик Акинфий. — Мяконькая лошадка-то, так вы ее поводком, — она и ускорится.

Акинфий едет на старом, седлистом, лопухом и горбоносом киргизе, который тычет ногами, как палками, и старик смешно начинает встряхивать всем корпусом, когда киргиз затрусит своей деревянной рысью. Наш поезд вытянулся благодаря узкой горной тропинке. Впереди мелькает присевшая в седле сторбленная фигурка нашего «вожа» Ефима; за ним, вытянувшись, бодро едет на караковом бегунце охотник Левонтич, а передо мной, грузно раскачиваясь в седле, виднеется широкая спина Павла Степаныча. Мы с Акинфием составляем арьергард.

— Так дальше и колесной дороги нет? — спрашиваю я Акинфия.

— А куда нам на колесах-то ездить? — отвечает старик вопросом и вздыхает. — Да и ездить некому... Разве вот на покосы кто али объездчики. Некому ездить...

— Ну а в скиты?

— Кому надо в скиты, так дорогу найдет. Настоящая скитская тропа, когда ни конному, ни пешему дороги нет.

У меня какое-то органическое отвращение к местам, изборожденным во всех направлениях проезжими дорогами, и особенная любовь к диким, нетронутым уголкам, вроде того, по которому мы едем сейчас. Все кругом дышит еще не тронутой, девственной прелестью, и лютое хищничество венца природы еще не коснулось ни леса, ни травы, ни земли. Вот она, природа, в полной своей неприкосновенности, как живая картина, только что вышедшая из мастерской великого художника: ни одной царапины, ни одного пятнышка. Дорогой вообще передумывается много такого, о чем в четырех стенах и не снится, а здесь так вольно дышится, и мысли роятся, как выпущенные из клетки птицы. Хорошо!.. И это голубое северное небо, едва тронутое бе-

лым шелком перистых облаков, так любовно смотрит на нас, точно громадный глаз.

— Держите поправее, — предостерегает меня голос Акинфия, и я подтягиваюсь в седле, чтобы проехать молодцом сомнительное место.

Луга и поляны ушли назад, а впереди могуте поднимался настоящий лес. Местность дальше заметно повышается. Нам предстоит переправа через горную речку, совсем потерявшуюся в сочной густой траве, в вербовой заросли и лопухах.

— Какая река?

— А Каменка... Все она же, наша Каменка. Поправее лошадку пустите, а потом через калужину... Эх, неладно, барин!

Я сам чувствую, что неладно, и лошадь тоже. Она застряла всеми четырьмя ногами и собирает свое сбитое тело, как пружину, чтобы сделать отчаянный прыжок. Нужно повторить это движение в седле, чтобы не получилась роковая разность инерции и несовпадающих скоростей. Но проклятое место осталось уже позади, прежде чем я мог что-нибудь сообразить; это общая особенность всех

таких опасностей: они так же быстро исчезают, как и появляются. Серый тоже успокоился и в награду за свой подвиг сорвал целую ветку черемухи. Лошадь в лесу совсем не то, чем она является в городе, на улице или у себя в конюшне: в ней как-то и смысла больше, и есть своя лошадиная грация, потому что именно в этой обстановке она только и бывает вполне лошадью.

Каменку мы взяли вброд. Бойкая горная вода так и бурлила около лошадиных ног, точно сердилась, что нарушают ее спокойствие.

— Пал Степаныч, утки!.. — крикнул за моей спиной Акинфий.

Вся кавалькада остановилась. Мне не хотелось слезать с лошади и вынимать ружье из чехла, а поэтому спешил Павел Степаныч. Он грузно зашагал по густой траве к речке, блестящей широкой излучиной. Вот и Ефим пошел за ним. Он был среднего роста и время от времени пропадал с головой в траве. Акинфий поднимался в стремях и, разглядывая реку, из-под руки делал Ефиму соответствующие знаки. В излучине медленно выплывали

три темных точки и с недоумением остановились на самой середине. Гулко грянул выстрел, и одна из этих черных точек бессильно осталась на воде, а две других «взмыли» в сторону.

— Есть!.. — успокоенно проговорил Акиндий. — Ловко Пал Степаныч хлопбыстнул.

Охотник Левонтич, рыжий, с красивыми голубыми глазами, бросился добывать «поле». Он как-то необыкновенно быстро остался в одной розовой ситцевой рубашке и, засучив штаны, побрел в реку к убитой утке, Ефим стоял в траве и смотрел. Я много слышал об этом Ефиме и теперь рассматривал его с особенным вниманием. Небольшого роста, худенький и сутулый, с впалой грудью и длинными руками, он по наружности не представлял собой ничего выдающегося, как и его самый обыкновенный мужицкий костюм — чекмень, валяная шляпа, рубаха из домашней пестрядины, мужицкие сапоги. Но замечательно было худое, смуглое и узкое лицо с бородкой клинышком: оно точно было снято с какого-нибудь раскольничьего образа. Особенностью этого иконописного лица было то,

что оно постоянно улыбалось, кротко и спокойно, точно постоянно светлело каким-то внутренним светом. Ефим славился как лучший медвежатник, ходивший на зверя с глазу на глаз. Его отец Акинфий в свое время тоже пользовался репутацией неустрашимого охотника, но теперь он по добровольному сознанию уступил все сыну Ефиму: и глаз у Ефима повострее, и рука повернее, и сердцем не упадет; одним словом, булыгинская кровь, а все Булыгины из роду в род медвежатники. Левонтич тоже хороший охотник, и с Булыгинскими постоянно за зверем ходит, но только то да не то, и до Ефима ему далеко.

— Эвон тут в стороне у Ефима в петровки медведь в капкане сопрел. — объясняет мне Акинфий, когда мы в прежнем порядке вытянулись по тропинке. — Ошибочка вышла у Ефима-то: вовремя не досмотрел... Здоровущий зверина зацепился; ну, известно, в петровки жарынь, — он и не стерпел. Тошно ему...

— А ты много убил медведей на своем веку, Акинфий?

— Я-то?.. А уж не умею этого сказать:

несчитанные ведь наши-то мужицкие медведи. Это господа считают, потому как им любопытно: я, мол, медведя убил. А страшного в этом звере ничего нет, окромя самого слова: медведь. Он меня боится, медведь-то, а не я его... Конечно, без снасти и клопа не убьешь, а все-таки в котором человеке ежели настоящий дух... Вон Ефим по шестнадцатому году первого-то зверя залобовал... Совсем еще мальчонком был. Идет по лесу, а медведь и попадись. Сейчас Ефим пульку спустил и положил зверя. Левонтич тоже ловко на зверя ходит, только горяч больно.

— По сколько же вы в год с Ефимом убиваете медведей?

— А как господь приведет... Бывало, и десятком считали, а то и одного. Нонче уменьшились, потому как ставим зверя барину, Карле Карлычу... Мы его высмотрим, обложим, приведем Карлу Карлыча, а он и убьет. Известно, охотка... Карла-то Карлыч за сорок считает медведей.

— У него тоже, значит, дух есть?

— Ружья хорошие у него, ну, тоже собачки... Пустое дело, ежели разобрать. Говорю,

одно название: медведь.

В этих разговорах дорога короталась незаметно, хотя о главном Акинфий не сказал ни слова. Ближайшей целью нашей поездки было осмотреть раскольничий скит, куда нас и вел Ефим, но об этом не говорилось из особой мужицкой вежливости. Не таковское это дело, чтобы зря болтать. Собственно, устроил все Павел Степаныч, старый знакомый Акинфия, а я в этой компании являлся чужим человеком, в лучшем случае приятелем Павла Степаныча, что, впрочем, само по себе являлось достаточной гарантией. Я люблю всякое отшельничество и с нетерпением ждал, когда наконец мы доедем до цели нашей охотничьей экскурсии. Скиты я и раньше видал, но каждый новый скит для меня являлся крайне интересным предметом наблюдения. Благочестие быстро падает и пустынножительство исчезает. Старики вымирают, а молодые не нарождаются. Да и вся старая вера «пошатилась», везде пестрота, свары и мятеж.

Булыгины были раскольники искони и относились поэтому к православному Левонтичу немного свысока. Впрочем, Левонтич и не

думал вступать в препирательства с такими столпами древнего благочестия, как наш «вож» Ефим, тип будущего скитника. Он в тридцать пять лет оставался девственником и ничего слышать не хотел о женитьбе. К женщинам будущий подвижник относился с безгливой снисходительностью, как к предмету по своему существу неприличному. В доме он являлся грозой для снох, и сам старик Акинфий побаивался его благочестия.

— Признайся, боишься сына? — допытывался у Акинфия Павел Степаныч. — Строго он вас всех держит?..

— Особенный человек, Пал Степаныч... Крепость у него невозможная, а мы что же?.. Мирские люди, одним словом.

Павел Степаныч несколько раз приставал к Акинфию с этими разговорами, и старик каждый раз заметно конфузился и старался свести разговор на какую-нибудь постороннюю тему. Я объяснял это простой мужицкой совестливостью за нарушенный отцовский авторитет, хотя после оказалось нечто иное, и для меня сделалось понятным, почему Павел Степаныч с добродушной хитростью улыбал-

ся себе в бороду.

Если есть вообще милые люди на свете, так это Павел Степаныч: стоило посмотреть на него, чтобы на душе сделалось легче. И жизнь казалась проще, и солнце светлее, и вообще как-то чувствовалось лучше. Это именно счастливые люди, не проявляющие себя никакими особенными подвигами или выдающимися талантами, но всегда ровные и спокойные, как те большие русские реки, которые красивы своей внутренней силой. Павел Степаныч не был красив, одевался мешковато, держал себя угловато, но стоило ему взглянуть своими добрыми глазами и улыбнуться, как вы невольно подумали бы: «Милый Павел Степаныч...» По происхождению коренной хохол, он сохранил в себе добродушный юмор и вообще шутливую складку. Я по-своему понимал эту жизненную натуру, выработавшуюся мучительным историческим процессом. Предки Павла Степаныча гайдамачили с «свяченными ножами» в Умани, вырезывали Белую Церковь, руйновали шляхетчину, пока сами не попали в лапы хитрым панам под Берестечком. Потом следо-

вала глухая борьба, панщизна и медленное истощение яркой народности, едва откликавшейся только поэтической думкой слепого бандуриста да своим хохлацким говором. Какую же нужно иметь живучесть, чтобы Павел Степаныч мог улыбаться и устраивать свои «жарты»? На Урал он попал случайно, зажил-ся здесь и сделался «русопетом». В минуту раздумья Павел Степаныч пел свои грустно-веселые хохлацкие песни, в которых так живьем и вставляли белые мазанки, вишневые садочки, пышные дивчины с карими очами, соловьиные песни и эти чудные украинские ночи. Все особенности южной натуры Павла Степаныча преимущественно выступали именно теперь, на фоне моей родной раскольничьей медвежатины. Холодным северным ветром, глубокими снегами и фанатической энергией веяло от нашего вожа Ефима, точно и сам он замерз на одной какой-то мысли и хранил ее как святыню. Этот северный человек не будет распевать любовных песен, не будет любоваться «тихими водами и ясными зорями», но, когда нужно, будет гореть в огне, гнить по острогам, таиться годами по

лесным трущобам и все-таки спасет свое святая святых. Бедность внешних впечатлений здесь выкупалась полнотой и глубокой содержательностью внутреннего мира, упорным исканием потерянной правды. Для меня лично Павел Степаныч и вож Ефим являлись только сторонами одной медали, дополняя и выясняя друг друга.

— А чего же вы задумались, братику? — окликнул меня Павел Степаныч, выравнивая свою лошадь с моей. — Сейчас скит будет...

Я вперед рисовал себе картину лесного раскольничьего скита, лица пустынножителей и весь скитский обиход. Простая изба в лесу — и больше ничего. Поставлена она так, что в двух шагах проедешь и не заметишь: это общая характерная черта таких пустынь. Видел я и раскольничьи полукафтаны, и подстриженные в скобу волосы, и честные бороды, и деланно-смирренный взгляд, и раскольничью ласковость и вперед переживал впечатление чего-то фальшивого, неискреннего. Наш поезд все еще поднимался в гору; лес редел, впереди брезжила поляна. Очевидно, когда-то здесь был заводской курень, от которого оставалось только несколько столетних сосен-семенников, оставленных всеистребляющей рукой на племя.

— Эге, чурка! — проговорил рядом со мной ехавший Павел Степаныч. — Это Ефима работа... У него здесь пасека.

Мы выехали на горное плато, в глубине точно огороженное тяжелой грядой высоких гор. Между ними в глубоком логу пробира-

лась все та же Дикая Каменка, через которую мы переправлялись уже несколько раз. Наша остановка около первой чурки — Павел Степаныч был пчеловод — разъединила поезд. Ефим уехал куда-то в сторону, и вдали мелькала в высокой горной траве только его голова, точно он плыл по этому зеленому приволью. Старик Акинфий и охотник Левонтич скрылись впереди. Самый скит мы увидели, только подъехав к нему вплоть. К тропе он выходил поленницей свеженарубленных березовых дров, так что его трудно было разглядеть. Длинная избушка точно выросла в землю. Очевидно, она строилась не за раз, а по мере надобности: сначала была поставлена маленькая избушка в одну горницу, потом к ней прирубили сени, а к сеням приставили вторую избушку. Впоследствии эта постройка была обнесена с севера навесом и новой стенкой; такой же навес козырем шел от задней избы. Чем-то таким домашним, трудническим пахло от этой постройки, точно видел ее раньше и каждое бревно было знакомо. Двумя крошечными оконцами скит глядел на юг, точно добрыми стариковскими глазами.

Низенькая дверь вела в сени. Когда мы подъехали, нас встретил здоровенный мужик, без шапки и босой.

— Пал Степаныч, родимый мой...

— Лебедкин... Ты как сюда попал?

— А уж, видно, так... Вожжа под хвост попала.

Лебедкин был известный человек на сто верст: он и штейгер, и лошадиный барышник, и все что хотите. Вечно верхом, вечно озабочен, вечно что-то ищет. Он далеко пошел бы, если бы не слабость к водке: пил он мертвецки, по целым месяцам. И сейчас было заметно, что у Лебедкина неладно в башке, и он только встряхивал ею, как взнузданная «строгая» лошадь. Его появление нарушило первое впечатление от скита. Где-то, под землей, грустным речитативом шло церковное чтение, причем неизвестный голос отбивал необычные для православного уха цезуры. В открытое окно задней избушки тянула синяя струйка дыма от кацеи и сейчас же таяла в ароматном летнем воздухе. В глубине моленной слабо мигали огоньки своедельных скитских свеч. Мне вдруг сделалось совестно и за

собственное праздное любопытство, и за нарушенный покой пустынножителей, и за их оскорбленное нашим появлением молитвенное настроение, и точно в ответ на эту мысль протяжной колеблющейся нотой из окна моленной понеслись разбитые, старческие голоса:

— Аа-а-ааа-аа-а-а-а-аааа-а-аа-минь!

Это было настоящее крюковое пение, такое же монотонное и грустное, как сама мать-пустыня.

Спешившиеся Левонтич и старик Акинфий, как мне казалось, испытывали такое же чувство смущения, как и я. Акинфий держал в поводьях лошадей и смотрел куда-то в сторону, а Левонтич с несвойственной ему торопливостью бросился помогать Павлу Степанычу слезать с седла и по пути шепнул:

— С утра молятся старички, Пал Степаныч.

— Что же, мы их не съедим... Пусть себе молятся на здоровье...

Опять монотонное чтение, точно где-то жужжит большая зеленая муха и время от времени бьется о стекло головой. Мы все молчали. Сначала глаз ничего не мог разглядеть

в полутьме моленной, и только потом выступили неясными силуэтами три молившиеся фигуры. Все старцы стояли в ряд, скрестив руки на груди, и в положенное время, точно по команде, откладывали широкие раскольничьи кресты, кланялись, и опять в воздухе поднималась та же зудящая нота, неотступная и щемящая, точно где-то быстро падали одна за другой капли воды. Я рассмотрел стоявшего ближе к окну старика. Это был среднего роста, плечистый и приземистый мужчина с лысой головой и благообразной «теновой» бородой, то есть расцвеченной сединой. Широкое лицо, выпуклый лоб и вся осанка придавали ему внушительный вид, особенно рядом с следующим, тщедушным и сторбленным старичком, походившим на ветхозаветного дьячка. Он весь был какой-то серый, начиная со своего полукафтання и кончая цветом лица, волос и глаз, — того особенного серого цвета, какой вещи приобретают от долгого лежания где-нибудь в кладовых или в сундуках, куда не достигает ни солнечный свет, ни свежий воздух. Третий старец для меня так и остался невидимкой, хотя, очевидно, он и «го-

ворил канун», выражаясь по-раскольничьи.

— Пал Степаныч, родимый мой...

Это был опять Лебедин; он манил из-за угла, подмигивал и вообще имел вид человека, отыскавшего какую-нибудь редкость. Мы пошли к нему, под открылок-козырь. Здесь на земляной завалинке под шубой лежал еще скитник, глядевший на нас каким-то детски улыбавшимся взглядом. Он был или очень стар, или очень болен; оказалось первое.

— Отец Варсонофий... — как-то виновато бормотал Лебедин, показывая глазами на бессильно распростертого старца. — Очень древний старичок...

— Какой отец... — зашептали бескровные, побелевшие губы. — Какой отец... Грешный раб божий Варсонофий, а отец у всех один...

Это было замечательное лицо — выцветшее, просветленное, кроткое... Жизнь в нем едва теплилась, как те колеблющиеся синие огоньки, которыми умирает живой огонь. Тело, высохшее и слабое, оставалось только как готовая в каждый момент распасться брэнная оболочка умиротворенного и ушедшего в себя духа. Эти детские глаза, казалось, смотрели

на нас с того света, смотрели с любовной жалостью, как смотрят иногда на попавшихся в шалости любимых детей. С землею здесь давно было все кончено.

— Ну, как здоровьем-то, дедушка? — спрашивал старик Акинфий, подсаживаясь на завалинку.

— А ничего... Слава богу. Перемогаюсь по-маленьку...

— Вот господам любопытно посмотреть было на скитскую жисть. Ну, вот и приехали. Только вы-то не беспокойтесь: превосходные господа.

— Что же, милости просим... У нас добрым людям отказу нет.

— А сколько тебе лет, дедушка? — спросил Павел Степаныч.

— Не считал, родимый... Прежде-то считал, а тут и забыл. Порядочно-таки пожил на белом свете... Да...

Старец на мгновение задумался, потом обвел всех нас своим детским взглядом и точно подумал вслух:

— А ведь точно и не жилал на свете... Точно вот все собирался куда-то, а тут и поми-

рать пора.

— Сорок лет отец Варсонофий спасается, — проговорил Лебедкин. — За наши грехи богу отмаливает...

— Давно в лесу живу, родные... Два раза в острог садили, — думал вслух скитский старец. — Как же, сподобил господь принять утеснение. В первый-то раз полтора года высидел за беспаспортность, а второй четыре месяца... Сподобил господь... Один я тогда в лесу жил... А теперь вот ослаб... Плоть изнемогла...

— Не страшно одному-то в лесу жить, де-душка?

— На людях, милый, страшнее, да вот живете...

— А не блазнило тебе, когда один в лесу спасался?

— Одинова был такой случай: зимой, ночью, стою этак на молитве, а он как раскочитя да ка-ак ударит прямо в стену...

— Кто он-то?

— Известно кто... Не любит он божьего дела, потому как ему сейчас тошно... Ну, как он ударит в стену мне, а я и слова не могу выго-

ворить: стою и трясусь. Потом уж кое-как отошел и сотворил молитву: «Во имя отца и сына и святого духа...»

— Может быть, это так, дедушка... Мало ли в лесу притчется иной раз.

Старец посмотрел на нас с сожалением и проговорил тоном, не допускавшим возражения:

— А следы где? Я как отошел, сейчас засветил фонарик и пошел осматривать снег кругом избушки! ни-ни... Известно, чья работа, когда и следу не оставил. Ежели бы худой человек или зверь подошел, так следы бы на следил, а тут чисто...

— У него все чисто выйдет, у нечистого, — сокрушенно подтвердил Лебедкин и даже покрутил своей похмельной головой.

Наше общество составляло оригинальную группу, так и просившуюся на полотно. Центр картины занимал старец Варсонофий; у него в изголовьях задумчиво сидел на обрубке дерева Павел Степаныч, контрастировавший своей могучей фигурой и цветущим здоровьем; в ногах молча стояли старик Акинфий и охотник Левонтич, а Лебедкин постоянно

менял место. Под навесом бродили мягкие тени, делавшие светлевшую даль еще светлее. Прибавьте урывками доносившееся крюковое пение, и картина получится полная.

— Ты откуда родом будешь, дедушка? — допрашивал Павел Степаныч.

— А из Невьянского заводу, родимый... Тридцать лет в миру жил, грешил. У нас семья сапожники, ну и я тоже по этой части руководствовал...

— Жена была?

— Мирской человек... Была и жена. Померла давно...

— Зачем же ты в лес ушел: спасался бы дома. Не все ли равно, где молиться.

— Дома-то, родимый, и мысли домашние... Суеты больше, и ему это удобнее, когда домашними-то мыслями начнет ловить человека, как рыбу неводом. И то надо, и другое, и десятое... Уж он знает!..

— Мы вот к вам Акинфия привезли, — шутливо прибавил Павел Степаныч. — Будет ему грешить-то, пора и честь знать...

— Это ты правильно, Павел Степаныч, — угнетенно соглашался Акинфий, скромно

опуская глаза. — Давно пора, только вот слаб я... недостойн... Не всякому это дано, чтобы в пустыне ухраниться от мира.

— Трудно... — вздохнул старец Варсонофий и любовно посмотрел на Акинфия. — Не всякому дано... В допрежние времена больше крепости в людях было и пустынножителей было больше, а нынче умаление во всем. Сиротеют боголюбивые народы... Господи, прости и помилуй!

— Мало скитов осталось, дедушка?

— Умаление благодати... Старые-то скиты позорены, а новых не слышать. Пестрота началась и в старом благочестии...

Мы оставили старика на его завалинке. Лебедкин опять оставил нас.

— Павел Степаныч, вот она... — шепотом сказал он, указывая на стенку северного навеса.

— Кто она?

— А домовина... Это отец Варсонофий своими руками себе выдолбил, чтобы братию после того не беспокоить. Божественный старичок...

«Домовина» действительно стояла у стены

под самым солнцепек. Это был раскольниковый гроб, выдолбленный из цельного дерева, — настоящая древнерусская «колода», в каких хоронили покойников еще во времена Владимира Красное Солнышко. Дощатых гробов древнее благочестие не признает. Лебедин с особенным почтением обошел домовину со всех сторон, пощупал ее руками, постучал в дно пальцами и глубокомысленно заметил:

— Приятная вещь.

Это неожиданное заключение понятно было только для нас и поэтому не вызвало ни одной улыбки. К числу особенностей Лебединкина относилось то, что для него весь мир распадался на две неравные половины, — приятную и вредную: приятное место, приятный ключик, приятный человек и т. д. и вредные места, люди и вещи.

В двух шагах от скита, в тени молодых березок, сочился из земли ключ. Ближе на бугорке разбит был небольшой огород, то есть до десятка грядок с разным скитским овощем: репа, капуста, морковь, горох. Тут же пригорожен погреб, где хранились скитские запа-

сы.

— Мы опосля посмотрим у них в скиту, — объяснял Акинфий, — а теперь они молятся, старцы... Нехорошо мешать божьему делу. Вон и пчела не любит, когда ей мешают... Ох, грехи наши тяжкие, Пал Степаныч! Посмеялся ты даве надо мной, а ведь я-то и сам чувствую свою слабость... Тоже стыдно, когда поглядишь на христовых трудничков. Весьма мы все это понимаем, Пал Степаныч...

Ефим уже поджидал нас на пчельнике, до которого от скита было не больше двухсот шагов. Небольшая сказочная избушка на курьих ножках совсем спряталась в траве. Наши стреноженные лошади разбрелись по роскошному горному пастбищу, бархатным ковром спускавшемуся к Дикой Каменке. Перед сказочной избушкой весело курился тоже сказочный «огонек малешенек», а перед ним сидел вож Ефим и в железном котелке мастерил какое-то походное кушанье. Самовар шипел рядом с ним.

— Мир на стану! — издали крикнул Лебединкин.

Мы шумно разместились около огонька. Ружья были приставлены к стенке избушки, на ближайшей березе развешана всевозможная охотничья сбруя, на траве разостлана моя кавказская бурка. Солнце стояло уже высоко, и мы все разом почувствовали, что все голодны и все жаждем.

— Ефимушка, приятный ты человек, — бормотал Лебединкин. — Ах, уважил, родимый

мой!..

Ефим только взглянул на забулдыгу своими улыбающимися глазами и ничего не ответил, что заметно смутило Лебедкина.

Прелесть этой горной охотничьей стоянки была выше всякого описания. Все кругом точно улыбалось, выкупая суровую красоту теснившегося кругом дремучего леса. Только скитский глаз мог облюбовать такую «прекрасную пустыню». Редкие столетние сосны венчали ее, как поставленные на страже великаны. На каждой висело по чурке с пчелами, гул от которых проносился в воздухе тонкой струей, точно проводили по краю тонкого стекла.

— А меду к чаю добыть, Пал Степаныч? — спросил Ефим. — Живой рукой достанем...

— Что же, дело хорошее.

Павел Степаныч, утомленный верховой ездой и летним зноем, остался у огонька с Акинфием, следившим за варевом, а мы с Ефимом отправились добывать мед к ближайшей сосне. Чурки висели низко, так что можно было вырезать мед без особых приспособлений. Ефим в одной руке нес дымившуюся головеш-

ку, а в другой берестяной «чуман», то есть коробку, сделанную из свежей бересты. Мирно дремавший улей громко загудел, когда мы подошли.

— Учужала... — шепотом сообщил Левонтич, завидовавший уменью Ефима взяться за каждое дело. — Ефима, небось, не тронет, а нас под один пузырь сделает эта пчела. Тоже руку знает...

— У него слово такое есть, у Ефима... — объяснял Лебедкин тоже шепотом, скосив глаза на Ефима. — Ты думаешь, он спроста? Нет, брат, тут везде механика.

Ефим из предосторожности все-таки надел на лицо волосяную сетку и не спеша принялся за дело. Пчелы ужасно взволновались, когда он открыл внутренность улья. Подкуренные дымом, они живым узором передвинулись в верх сот. Лебедкин держал чуман, а Ефим опытной рукой вырезывал один пласт за другим. Это был чудный горный мед, собранный с пахучих горных цветов. Вощина была белая, как слонобая кость, и мед с нее капал прозрачной слезой.

— Ай, ой! — крикнул Лебедкин, ужален-

ный пчелой в шею. — Ох, смерть моя, братцы!..

Левонтич присел на траву и, закрыв лицо руками, хихикал над перепугавшимся Лебедкиным, — хохотать громко в присутствии Ефима он не смел. Лебедкин корчился, делал гримасы, но не решался выпустить из рук чумана с медом, а Ефим продолжал свое дело, не обращая ни на кого внимания.

— Что, брат, не любишь?.. — поддразнивал Левонтич побледневшего Лебедкина. — Не нравится... Она, брат, знает, эта самая пчела, кого ей достигнуть.

Мы вернулись на стан торжественной процессией. Лебедкин уверял дорогой, что он нарочно оставил свою грешную выю на съедение пчелам.

— Ах ты, угар! Тоже и скажет!.. — смеялся Левонтич.

— Мне одна старушка сказала, что весьма это полезно, ежели пчела сядет, — уверял Лебедкин. — Самая недушевноядная тварь...

На открытом воздухе чай со свежим медом имел свою прелесть. Павел Степанович со-

всем «размалел» и завалился спать. Лебедкин некоторое время шарашился около огонька, пока не свалился замертво прямо в траву, как застреленный. Ефим куда-то ушел, Акинфий рубил дрова на ночь, а я лежал на бурке и любовался голубым небом, ярким светом и бродившими в бездонной выси перистыми облачками. Было жарко, но я люблю полежать именно на припеке. Кругом ни звука. Кузнечики и те притихли, — начнет свою трескотню и точно сконфузится. Стреноженные лошади забрались в заросли Дикой Каменки, и только изредка доносились удары ботал, навешенных на их шеи. Все зелено кругом, все радостно, как в годовой праздник, и не хочется ни о чем думать. Хорошо, и только... Точно сам растворяешься в этой зеленой пустыне. Левонтич прикурнул около меня, но тоже не мог заснуть и только тяжело вздыхал.

Не помню, сколько времени я лежал, но, видимо, заснул, потому что когда открыл глаза, то картина была уже другая. И сон здесь был какой-то легкий, точно облачко нанесло. Около огня в живописных позах разместились Ефим, Лебедкин, Левонтич и Акинфий.

— Так собачку порешил? — спрашивал Ефим, глядя на огонь.

— То есть даже вот одинова не дыхнула, — с грустью отвечал Левонтич. — А песик был редкостный: зверя один останавливал. А тут барсук и подвернись. Ну, Орляшка его уцепил за загривок и висит: он ведь и медведя таким же манером брал. Да ведь ты помнишь, Ефим, как на зверя хаживали с Орляшкой?

— Как не помнить: верхом на медведя садилась Орляшка. Никакой в ней страсти... Другие собаки норовят сзади подойти, а Орляшка прямо в пасть идет. Уж что говорить: другой такой-то не нажить. Угораздило тебя с барсуком-то, право...

— Да ведь я-то что же! — оправдывался Левонтич. — Я, значит, и с ружьем был, а не стал стрелять: его же, Орляшку, пожалел. Рвут они друг друга, по земле клубком катаются, — ну где тут наметишься... Ухватил я орясину, замахнулся, ка-ак ударю барсука в башку — он и недохнул; да по пути и Орляшку зашиб. Ей-то по носу орясина изгадала, по самому вредному месту...

— Это ты правильно, — подхватил Лебед-

кин. — Нет этого вреднее, ежели человека, например, ударить в нос, между глаз...

— Да ты о чем, путаная голова? — вмешался Акинфий. — Кто про попа, кто про попадью, а мы про собаку.

— А ну вас к чомору, коли так!.. Нашли приятный разговор...

— А ты не слушай... Другая собака-то получше человека. Да...

Настало молчание. Лебедин чувствовал, что он попал не в свою тарелку, и только сбоку поглядывал на Ефима. Медвежатники тоже молчали, но по выражению их лиц можно было заметить, что воспоминание об убитой Орляшке подняло в них свои специальные лесные мысли. Левонтич даже опустил голову, как опускает ее человек под тяжестью большого искреннего горя.

— И что бы ты думал, братец ты мой, — как-то залпом выговорил он, вслух продолжая незримо текущую общую мысль: — ведь эта самая Орляшка блазнилась мне... Иду как-то по лесу, за рябчишками, а она как тявкнет... У ней свой лай был. Я так и стал столбом, мороз по коже: оглянуться не смею, дро-

жу... Она этак умненько взлаивала, когда на след нападала. Очертел я, прямо сказать, а потом так мне тошно сделалось, точно вот о человеке вспомнил... Так и не оглянулся.

— А помнишь, как с Карлой медведя брали под Глухарем? — заговорил Акинфий. — Тогда еще брат у него наехал, офицер...

— Это, когда медведь в часах ходил? — вмешался Лебедин и захохотал с пьяной угодливостью. — В часах и при фуражке... ха-ха!.. Ловко!

— Тогда Орляшка-то, почитай, одна зверя остановила, а другие собаки сплеховали, — продолжал Акинфий. — К выскари [1] его прижала и на дыбы подняла. Ушел бы он, ежели бы не Орляшка.

— Я тогда, как услышал, что Орляшка грудью пошла, сейчас и пополз в чепыжник, — продолжал Левонтич уже сам. — Ползу и слышу, как он, медведь, лапами от собак огребается... Одну зацепил когтем, — ну, запела благим матом. Остальные подлаивают... Я ползу и слышу, как Орляшка орудует: так варом и варит. Этак выполз я, может, в пять сажен, весь медведь у меня на виду, а стрелять нель-

зя, потому как Карла с братом должны убить его. Ну, я взад пятки, выполз к Карле, маню его, а он и руки опустил: брательник-то помушнел весь и ружье Ефиму отдал; звериного реву по первому разу испугался... Я маню, а Карла ни с места. Ну, я опять в чепыжник, опять ползу под зверя, и жаль мне до смерти Орляшку: пропадет мой песик ни за грош. А уж по лаю-то и слышу, что ему невмоготу одному со зверем управляться, да и медведь растервенился. Выполз я, Орляшка увидала меня и даже завизжала: дескать, что же вы это, черти, зверя не берете? Только вот человеческим языком не скажет, — вот какая собачка умная. Ну, я опять к Карле и прямо его за рукав и поволок к зверю. Стреляет Карла ловко и порешил зверя с двух пуль... Ну, к мертвому-то и остальные собаки бросились. Я ее, Орляшку, хочу погладить, а она около меня вертится и все визжит, обидно ей тоже за наше-то малодушие. Строгая была собачка... Мне даже стыдно стало, как она мне в глаза тогда глядела.

— Ну, а брат Карлы убежал? — допытывался Лебедин. — Душа-то, видно, коротка ока-

залась...

— И часы и фуражку тогда потерял, — уже другим тоном добавил Левонтич, улыбаясь. — Ну, другие охотники после и смеялись, что в его фуражке и часах медведь целый год по лесу щеголял... Известно, господа, им все хи-хи. Карла наш смелее, а и на того тоску навел.

Общий смех охотников разбудил Павла Степаныча. Он сел, протер глаза и сам засмеялся, невольно поддаваясь общему настроению, и только потом спросил:

— Да о чем вы тут брешете, пранни вашему батьку?

— А мы про медведя, Пал Степаныч, который в часах и фуражке по лесу целый год щеголял, — объяснил за всех Лебедин.

— А... Що ж, було и так!

Павел Степаныч опять засмеялся и упал на прежнее место. Этот смех подзадорил медвежатников.

— Помнишь, Пал Степаныч, как медведя из берлоги поднимали? — спросил Левонтич. — Тогда еще чуть ты не наступил на него, на медведя... Карлу с Ефимом чуть не подстрелили.

— И то близко было дело, — подтвердил Ефим со своей невозмутимой солидностью. — Я, значит, стою с Карлой в цепи. Он с ружьем, а я с палочкой... Ну, рассчитал так, что ежели зверь из берлоги пойдет, не миновать ему нас. Ну, слышим — треск, собаки взвыли... Валит зверь прямо на нас. Я посторонился, чтобы дать ему дорогу, а Карла с ружьем ждет. Только вдруг пых-пых, пули мимо нас засвистели. Это Пал Степаныч...

— Да чего же я? — чистосердечно удивлялся Павел Степаныч. — Мы с Левонтичем шли... Ну, по снегу убродно, я на лыжах едва ползу и ружье ему отдал. Только поперек колода, я через нее, а из-под нее как он вылетит- всего меня снегом засыпал. Помню только, что медведь как будто летел в воздухе, а потом оглянулся на меня да как рывкнул... Я схватил у Левонтича ружье, вдогонку и стрелил, а он так и улепetyвает.

— Что же, убили зверя? — спросил я.

— Собаки остановили... Ефим собак направил. Ну, я бегу на лай, вижу, медведь на задних лапах около сосны вертится и от собак отбивается. Ну, тут я его и пристрелил...

— Страшно было, Павел Степаныч?

— После-то действительно страшновато, а тут некогда было испугаться. Вдруг все...

IV

Когда жар свалил, мы еще раз напились чаю, а потом я с Ефимом отправился на Дикую Каменку за утками. Он шел за мной без ружья и даже без шапки, как свой человек в лесу. Высокая и жесткая горная трава путала ноги, так что идти было тяжеленько. Перекосивши луг, мы попали прямо в болото, на какую-то тропинку, неизвестно кем проложенную. Меня всегда удивляют такие тропы: кажется, нога человеческая не бывала, а тут вдруг выпадает тропка, да еще такая чистенькая и утоптанная и точно нарочно для удобства пешехода посыпанная прошлогодней хвоей.

— Теперь утка к солнзакату на корм выплывает, — объяснял Ефим, разжевывая осиновый мягкий листик. — В жар она прячется по осокам.

— А ты уток не стреляешь?

— Нет, когда на варево пришибешь, а так чтобы нарочно — не доводится.

Болото шло параллельно реке. Пушистый зеленый мох выстилал почву, как дорогой ко-

вер. Только кой-где он точно горохом усыпан был недозревшей, еще белой клюквой. Попадались низкие кустики болотной морошки, княженики, а на бугорках каплями крови але-ла совсем спелая земляника. Забравшиеся в болота сосны и ели покачнулись в разные стороны, точно они завязли в этой трясине и напрасно старались из нее выбраться. Что их безобразило, так это бородатый лишайник, который въедался в живое дерево, сушил су-чья и умирал тут же. Особенно жалкий вид имели болотные ели, одетые серыми лохмотьями этого лишайника. Как-то жутко в таком болотном лесу; ни один птичий голос не оживляет его мертвого молчания, — птица выбирает веселые места и любит больше всего ютиться по лесным опушкам. В болоте до поры до времени прячутся молодые выводки да косачи, когда после весенних шумных рау-тов они начинают терять свое брачное опере-ние.

Река была густо опушена вербой, ольхой и кустами смородины. Повороты она делала изумительные, точно раздавленная змея. Здесь было уже прохладно, и опускавшееся

солнце золотило только верхушки леса. После недавнего зноя, от которого струился воздух, как бывает только в самые сильные жары, идти по берегу Дикой Каменки было одно удовольствие. Раздвинешь куст смородины, и точно обдаст застоявшимся ароматом. Как все горные речонки, Дикая Каменка состояла из небольших плес, где вода стояла как зеркало, и мелких переборов, где она бежала с тихим ропотом. В одном месте из сухарника (сухой лес) образовалась целая плотина. Мы высматривали каждое плесо, каждую заводь, не покажутся ли утки.

— Должно быть, утка, — решил Ефим, когда мы с необходимыми предосторожностями высматривали одно из таких зеркальных плес... — Да, вот она, легка на помине...

Действительно, в глубине плеса от зеленой каймы осок отделилась черная точка и выплыла на середину. Только охотники понимают то захватывающее волнение, когда глаз увидит дичь. Это инстинктивное и странное чувство, неясным отголоском унаследованное, вероятно, от неизмеримо далекого прошлого, когда наши предки существовали ис-

ключительно одной охотой. Вся прелесть охоты именно в нем, когда весь человек превращается в зрение и в слух; когда же дичь убита — является чувство цивилизованного раскаяния. Мне случалось убивать немного, но каждый трофей сопровождался именно таким чувством, как было и теперь, когда Ефим достал из воды только что убитую мной утку.

— Черныш, — коротко проговорил он, взвешивая на руке добычу. — Не велика ко-рысть.

Мы присели отдохнуть на берегу. Дикая картина разворачивалась кругом, — сказочный дремучий лес, сказочная река, сказочное освещение. Царившая кругом молитвенная тишина невольно заставляла мысль уходить в себя, глубоко внутрь, в тот мир, который раскрывается только пред лицом вот такой природы. Мой молчаливый спутник лежал ничком на траве и тоже раздумывал какую-то свою раскольничью думу. Ведь здесь для него все было свое, родное...

— Прежде в Каменке много выдры водилось, — проговорил он наконец. — Нынче-то выбили ее...

— А трудно ее добывать?

— Ничего-таки, порядочно мудрено... Перед рождеством на нее ходим. Одному-то не справиться, так берешь товарища. Смышлястый зверь... Около полыньи живет по зимам-то, потому как рыбу жрет и передохнуть ему надо. Выследишь его все ходы и выходы, ну а потом и за работу. Сперва надо две канавы во льду прорубить и частоколом загородить, чтобы она не унырнула. Лед-то толстый, бьешься по горло в воде целый день.

— В декабре?

— В декабре... Канавы пройдешь, потом надо опустить лед с берегов, потому как река-то мелеет зимой и подо льдом воздух остается — она им дышит. Когда обрубилшь лед с берегов, спустишь его на воду, тогда уж ей деваться-то некуда. Мечется-мечется она в воде, а потом в полынью морду и высунет — тут уж ее товарищ и покончит. Другой раз целый день в ледяной воде так-то проваландаешься.

— И ничего?

— Привычные мы люди... Сперва-то, конечно, как будто неловко, точно даже обожжет, когда в воду залезешь, а потом в работе

разомнешься. Ежели бы одни ноги промочить, так от этого голова болит, а весь в воде — ничего...

— Сколько же ты получишь за такую выдру?

— А рублей пятнадцать дают, когда хороший зверь издастся. Тоже и выдра всякая бывает.

Рассказы об охоте на выдру я слышал и ранее, но не доверял им. Ефиму же можно было верить на слово: не такой человек, чтобы соврать. Я с удивлением рассматривал его сухую, подвижническую фигуру и никак не мог себе представить, как может такой человек целый зимний день проработать в ледяной воде.

— Живущая тварь эта самая выдра, — продолжал Ефим. — Мы тогда с Пал Степанычем порешили одну. Ну, видим — мертвая, и подвесили ее за задние ноги к дереву, чтобы кровь стекла из нее. Этак с полчаса она висела, а потом собака и любопытствуй: подошла к выдре и только хотела крови лизнуть, а та ее за скулу, — да так ухватила, что мы едва ее отняли. Башку ей раскроили, ну, тогда со-

баку выпустила... Вот сколь она живущая, тварина!

Мы опять разговорились об охоте. Ефим больше всего любил «заганивать зверя», то есть сохатого. Такая охота идет зимой, на лыжах, и требует нечеловеческой силы. Достаточно сказать, что охотник должен загнать на ходу такого скорохода, как сохатый. Иногда охотник бежит на лыжах верст семьдесят. Какие легкие нужно иметь для такого спорта?

— Он, сохач, сперва-то как стрела идет прямо, — рассказывал Ефим, болтая ногами. — Как ножом режет... Ну, гонишь его десять верст, гонишь другие десять, третьи десять... Верхнюю шубу сбросишь, потом полушубок, потом кафтанишко и в одной рубахе бежишь, а он все прямо чертит... Значит, чувствует себя в полной силе. А как свернул в сторону, сделал петлю — тут уж весь твой. Дух заперло, значит... А ты его все гонишь. Начнет он бросаться из стороны в сторону, потому чувствует свою неустойку. Ну, подпустил на выстрел, тут и конец.

— А какое у тебя ружье, Ефим?

— Да разное... У родителя-то пистонные

были ружья, а у меня с казенной частью. Только я берданку не уважаю, здоровьем плоха. Как пошел снежок, у ней затвор и не действует: хоть плачь. Я лесую с Пибоди... Этот не обманет. Раз трех сохачей из Пибоди убил зараз. Матку гнал с двумя быками... Ну, вышли они силой и повернули, так я сперва матку положил, а потом и обоих быков. Последнего-то саженьях на семидесяти свалил.

Мы вернулись на стан уже в сумерки, когда и Дикая Каменка, и окружавшие ее болота, и луг покрылись первым туманом. На паеке весело трещал огонь, и около него мелькали фантастические тени. Павла Степаныча не было — он ушел в скит. Я тоже отправился туда и нашел всех в сборе. Старик Варсонофий лежал на своей завалинке под шубой, а около него разместились другие скитники: старец Порфирий, плечистый лысый мужчина с большим лбом, серый старец Иона и еще какой-то молодой человек с глупым лицом. Этот последний оказался приживальцем, — он страдал падучей и вместо больницы жил в скиту.

Мое появление прервало какой-то разго-

вор. Павел Степаныч в одной рубашке сидел на обрубке дерева и с улыбкой смотрел на старца Порфирия.

— Ну, так как же, Порфирий, в баню ходить грешно? — спрашивал он, очевидно, продолжая начатый разговор.

— Того ради грешно, что не подобает свою плоть поблажать, — с уверенностью отвечал старец Порфирий. — Вон старец Варсонофий не бывал в бане-то целых тридцать лет... Да. А ты читал о преподобном Иоаннии? Нет? Ну, так преподобный Иоанний спасался в пустыне и никогда не зрел голого человеческого тела. Не мылся, не сменял одежды. Только раз пришлось ему переходить реку. Остановился преподобный и смутился: раздеваться того ради было нужно. Не хотелось ему изменить обету, и старец заплакал горько... Тогда восхищен бысть ангелом и перенесен на другой берег. Другой святой из боярского рода был, роздал имение нищим и поселился в пустыне. От всего отказался, только не мог босой ходить, потому как от молодых ногтей возвращен был в неге. Так и ходил в сапогах. Только и бысть ему некоторое сонное виде-

ние: видит он самого себя, что сидит на золотом престоле, кругом сияние, а ноги по колена в скверне. Тогда уж он догадался и бросил свои сапоги в огонь...

Очевидно, Порфирий являлся среди братьев «языком» и все время поддерживал разговор, кстати и некстати пересыпая его славянскими словесами. Другие скромно молчали. Мне опять было как-то совестно за свое праздное любопытство и за то, что вот мы, незваные гости, испортили целый день пустынножителей. Ведь мы — люди суеты, и принесли эту суету сюда, в это место уединения, покаяния и умиренной мысли. Только добродушное лицо старца Варсонофия несколько гасило это смущение: он так просто и любовно смотрел на нас своими детскими глазами.

Оказалось потом, что еще один старец скрывался от нас, именно келарь Онисим. Мы его открыли при осмотре скита, когда вошли в келарню, то есть просто на кухню. Это был высокий, сторбленный и черный, как жук, мужик. По своим келарским обязанностям он носил передник и рукава ситцевой рубахи застучивал. К нам он отнесся почти недруже-

любно и все время отворачивался.

— Он тоже с заводов, — объяснял конфиденциально старец Порфирий. — Торгующий был человек, имел капитал, жену, детей... И все сии прелести оставил ради пустыни.

— Давно он в скиту?

— Да уж с десятков лет будет... Только привыкнуть не может: диковат.

Мы обошли и осмотрели весь скит. Первая комната с улицы образовалась из бывших сеней. Она стояла сейчас пустая, кроме задней стенки, на которой развешано было какое-то скитское платье. Маленькая дверь направо вела из нее в моленную. Это была низкая комната, величиной в четыре квадратных сажени; ее освещало единственное крохотное оконце. Передняя стена была огорожена длинной полкой, уставленной потемневшими образами старинного письма; образов в окладах почти не было. Под образами висела шелковая, потемневшая от времени пелена с раскольничьим восьмиконечным крестом посредине. Перед этим скитским «иконоставом» стоял низенький аналой с разогнутой для чтения книгой. В углу была приколочена

укладка для книг, свечей и ладана. На скамейке подле окна лежали заношенные «подрушники» — четырехугольные небольшие платки на подкладке, которые во время молитвы расстилаются на полу, чтобы опираться на них руками. Несколько кожаных лестовок висело на стене — и больше ничего. Обстановка моленной была довольно убогая, а о роскоши здесь не могло быть и речи, что мне особенно понравилось. Показывал нам все старец Порфирий, повторявший к месту и не к месту свое «того ради».

Келарня — простая изба с русской печью, полатями, лавками и разным домашним скарбом. Монашеского здесь ничего не было, а запах свежееиспеченного хлеба говорил о жизни и ее вульгарных потребностях. Келарь Онисим при нашем появлении угрюмо скрылся, но мы опять нашли его, когда осматривали скитскую кладовую, где стояли лари с разными запасами, таинственные кадучки, бадьи и разные сундуки. В общем скитское богатство было очень невелико, и старец Порфирий многозначительно поднимал густые брови: оскудела благодать, не стало доброхо-

тов-даятелей...

— Чем вы будете жить, если вам не подвезут хлеба? — спрашивал Павел Степаныч.

— А бог-то? — ответил вопросом все время молчавший серый старец Иона.

Солнце давно закатилось. Заря потухла. Голубое северное небо точно раздалось и ушло вверх, в таинственно мерцающую даль... Внизу было темно. Лес точно сделался выше и казался гораздо дальше, чем днем. Белым молоком облился весь луг, все болота и вся Дикая Каменка с ее заводами, осоками, плесами и переборами. Что-то торжественное стояло в самом воздухе... Хороша эта молитвенная тишина наших северных лесов, эти безмолвно-торжественные ночи и трудовой покой после кипучего летнего северного дня.

— У старцев опять зачалась служба, — сказал Левонтич, сплевывая на огонь и чутким охотничьим ухом прислушиваясь к доносившимся из скита неясным звукам. — Вишь, как вытягивают... Теперь уж на целую ночь зарядили.

— Когда же они будут спать?

Левонтич только пожал плечами: на то, значит, старцы, чтобы молиться целоночно.

После легкого охотничьего ужина мы разместились на ночлег. Павлу Степанычу, мне

и старику Акинфию была отведена изба, а остальные прикурнули на открытом воздухе, около огонька. Лебедкин спал уже давно, раскинувшись плашмя на голой земле. Ефим сидел у огня с обычной серьезностью и мастерил из свежей бересты чуманы для меда.

— Вёдро будет, — проговорил он. — Трава росу дала... Если Ефим сказал, значит, так и должно быть.

У него на все были свои приметы, и он все знал здесь, как хороший хозяин. Левонтич только поддакивал ему.

— Ну, пора и нашим костям на покой, — с широким вздохом проговорил Павел Степаныч, укладываясь на свежем сене. — Эх, Акинфий, на людях-то греха сколько: как на черемухе цвету.

— Уж это что говорить, Пал Степаныч... Ты это правильно...

Мы улеглись на полу вповалку. Павел Степаныч занял центр, я левую, а Акинфий правую сторону. Старик что-то разнемогся, вздыхал, ворочался и кашлял старческим кашлем.

— Что, Акинфий, неможется?

— Ох, и не говори! С утра-то расхожусь, так

будто и ничего, а вот как спать ложиться — меня и ухватит. Передохнуть не могу...

Молчание. Дверь «на улицу» открыта, но и там ни звука. Акинфий опять надрывается кашлем и стонет. В избе темно, и только бельмом смотрит единственное оконце.

— Акинфий, ты скоро умрешь, — спокойно говорит Павел Степаныч в темноте.

— Сам знаю, что скоро, — так же спокойно отвечает Акинфий. — Что же, Пал Степаныч, будет, пожил в свою долю...

— Пора тебе в скиты уходить...

— Давно бы пора, да слаб я... Людей будет стыдно, ежели, напримерно, уйти в скит, а потом опять домой воротиться. Терпенья не хватит, Пал Степаныч.

— А когда грехи свои будешь замаливать? Небось, довольно их накопил...

— Ох, и не поминай... Подумать-то страшно, Пал Степаныч!.. К ответу дело идет, а отвечать не умею...

— А как же Ефим? До тридцати пяти лет девственником прожил, а потом в скиты уйдет.

— Уж он уйдет... Это ты правильно, Пал

Степаныч. Беспременно уйдет... Особенный он человек: крепость в нем и умственность до бесконечности. А у меня терпения нет...

Пауза. Темнота и глухая тишь. Привыкшее к этой ночной тиши ухо едва различает неясные голоса, которые поют где-то точно под землей: это опять скитская служба. Акинфий тяжело вздыхает.

— А та где, Феклиста? — неожиданно спрашивает Павел Степаныч, поборая изнемогающий сон.

— Где ей быть-то, — нехотя отвечает Акинфий. — Живет на заводе...

— У меньшака?..

— У его, значит...

— А ты к ней ездешь?

— Бывает... Ох-хо-хо!..

— Почему же ты ее к себе в дом не возмешь?..

— Я-то? Причина есть, Пал Степаныч... Первое дело, низко мне взять ее в дом, потому как бросовая она была девка, прямо сказать, шляющая по промыслам. Второе дело, совестно мне перед сыновьями да снохами будет: все большие, а я ее в дом к себе приведу... По-

ложим, моя старуха пятый год уж померла, а все-таки оно тово... Третье дело, Пал Степаныч, не нашей она веры: православная.

— Ну, все это вздор, Акинфий. Какая она была раньше, ты это сам видел, а теперь Феклиста воды не замутит... Работает на весь дом, ребят тебе каждый год носит — какого же тебе черта надо?

— Говорю: низко...

— А дети как?

— Как дети? Ребенок родится, мы его сейчас на воспитание и отдадим...

— А ребенок и умрет?

— Ежели бог веку не даст... Действительно, помирают все.

— Помирают? И тебе не стыдно, Акинфий?

— Да ведь не я их морю...

— Ну, перестань дурака валять: понимаешь сам, что нехорошо делаешь... Феклиста-то, поди, ревмя ревет...

— Баба, так известно ревет.

— Видишь ли, Акинфий, это свинство... Ребенок сам защититься не может, а вы его с Феклнстой на верную смерть отдаете. Разве это хорошо? За беззащитного человека ответ

еще больше...

— Ах, Пал Степаныч, Пал Степаныч, разве я этого не чувствую... Вот даже как чувствую!.. А только и мы неспроста это дело делаем: как ребенок родится, отдадим его в люди и сейчас, наприимерио, мы с Феклинстой шабаш, ровно сорок ден чаю не пьем... Да. После каждого ребенка так-то...

— И потом опять за старое?.. Ах, нехорошо, Акинфий... Хуже того, если бы ты вот схватил сейчас нож и принялся меня резать: я большой человек и буду защищаться, а ребенок что поделает?

— Это ты правильно... ох-хо-хо!..

— Ну, а грешным делом помрешь, тогда куда твоя-то Феклиста? Выгонят ее сыновья из дому, и ступай опять на промыслы. Приятно это тебе будет, а?

— Вот уж это самое напрасно ты, Пал Степаныч... Ах, как напрасно! — заговорил Акинфий совершенно другим тоном. — Да... Я тоже, поди, духовную написал, по всей форме. Будет Феклиста благодарить...

— Что же ты отказал ей по духовной?

— Я-то? — с гордостью переспросил Акин-

фий. — Я, Пал Степаныч, прямо так и написал в духовной, что, мол, после моей смерти выдать Феклисте пятьдесят целковых. Верно тебе говорю... Будет, говорю, Феклиста благодарить!

Павел Степаныч расхохотался во все горло.

— Вот так одолжил!.. Ловко... Она у тебя теперь прожила пять лет, ты ей ни копейки не платил за работу, баба весь дом воротит — это, значит, по десяти целковых в год приходится. Не продешевил, Акинфий... ха-ха!.. Да еще ты проживешь лет пять, — значит, по пяти целковых в год Феклиста тебе обойдется, а ребята даром.

Акинфий обиделся и замолчал. Наступила неловкая пауза. Павел Степаныч хотел сказать еще что-то по его адресу, но на половине фразы заснул.

Опять мертвая тишина, прерываемая только пением в глубине земли. Я полежал с полчаса, напрасно стараясь заснуть, а потом вышел на воздух. Слишком много было впечатлений за этот день, и они никак не укладывались. Огонь перед пасекой уже догорал, а около него, скорчившись, спали Лебедкин и Ле-

вонтич. Бодрствовал один Ефим. Я подошел и сел рядом с ним. Он не шевельнулся, и я в свою очередь скоро забыл о его существовании. Мне казалось, что я ушел куда-то в глубины русской истории, той не писанной при- сяжными учеными истории, которая созда- лась сама собой, как большая река из малень- ких ключей. Борьба за существование верши- лась здесь в самых примитивных формах, с рогатиной в одной руке и с ножом в другой, как в доброе пещерное время. Я чувствовал в самом себе пещерного человека и понимал его со всем обиходом его пещерных мыслей, чувств и желаний. Но и у пещерного челове- ка были свои нравственные требования, — он не только добывал себе пищу, укрывался от холода и защищал свое гнездо, но и задавал себе мудреные вопросы: как? почему? В пе- щерной жизни было слишком много неправ- ды и всякого зла (до Феклисты включитель- но), получался страшный разлад в душе пе- щерного человека, и он уходил спасти свою душу опять-таки в лес. О, как отлично я пони- мал вот этих пустынножителей, которые са- ми бы даже и не сумели рассказать словами

своего душевного настроения. Да, зло слишком велико, оно царюет в каждом пещерном человеке, и для спасения необходимы самые энергичные средства: золотой середины здесь не могло и быть. Пещерный человек спасал свою омраченную душу с каким-то ожесточением, как раньше ходил с рогатиной на медведя. Северный траурный лес, мертвая зима с ее вьюгами и сорокаградусными морозами — все точно создано для такого покаянного настроения. Проникнутая мирским зверством душа оттаивает и выливается в этих ноющих звуках скитнического пения... Ведь правда там, наверху, и умиротворенная душа рвется в таинственную даль с кровавыми слезами. Вот и Ефим идет по этой дороге и внесет с собой в упадающее скитничество свою «крепость и умственность до бесконечности», — отшельничество у него в выражении глаз, в улыбке, в каждом движении. Он здесь, на земле, только временный гость и, что особенно важно, сам сознает это.

— Что, Ефим, много старцев спасается в горах? — спросил я, нарушая молчание.

— Есть... А прежде больше было. Ослабел

народ...

— Ведь нынче даны большие льготы старообрядцам, и должно было бы быть наоборот.

— Это для приемлющих священство, а не для нас. У нас старики правят. Между собою разделение пошло большое: что ни дом, то и своя вера. Бес проскочил промежду боголюбивыми народами. И старики наши ослабели: не стало прежнего гонения, не стало и крепости. Последние времена...

Утром все встали рано: нужно было до жары подняться к горе Глухарь, до которой от скита считали верст пятнадцать. В скиту все еще шла служба, так что нам так и не удалось проститься с гостеприимными старцами. Лебедин проспался и был мрачен. Левонтич седлал лошадей. Старик Акинфий, разбитый бессонной ночью, едва бродил по поляне, разминая ноги. Как хорошо это горное утро, свежее, бодрящее, ароматное. Все кругом точно умылось ночной росой, капли которой сверкали в траве, как алмазные слезы. Мой серый отдохнул и несколько раз во время заседлывания пробовал укусить Левонтича.

— Балуй, ежовая голова!.. — с деланной грубостью кричал на него Левонтич.

Отдохнувшие лошади вообще позволяют себе некоторое лошадиное кокетство: притворно прижимают уши, притворно стараются укусить, притворно брыкаются. Я уверен, что наши лошади оставляли роскошное пастбище с искренним душевным прискорбием, — им так хорошо было здесь, даже

несмотря на железные путы. На пасеке остались Лебедкин и Акинфий, а остальные ехали на Глухарь. Лебедкин тяжело и сокрушенно вздыхал, тряс головой и вообще обнаруживал довольно ясные признаки раскаяния.

— Эдаких-то подлецов удавить мало, — ворчал он в пространство. — Как я теперь к жене покажусь с эдакой, например, образиной?..

— Хорош!.. — коротко заметил Павел Степаныч, усаживаясь в седле.

— Бывают хуже, да редко, родимый мой... А как ты полагаешь, Павел Степаныч, что мне дражайшая супруга должна сказать? «Пошел вон, подлец!» — вот и весь разговор. Значит, ежели она мне правильная жена... А я ей скажу: «Гони ты меня, Дарья, в шею!» Вот какой у нас разговор... Кругом я себя окружил качествами, как частоколом. Просил старцев отмаливать, так говорят: твой грех, ты и отмаливайся...

— Ну, прощай, Акинфий, — сказал Павел Степаныч, забирая поводья. — Спасибо на угощенье.

— Не обессудьте, родимые...

Наш поезд опять вытянулся по тропе к Дикой Каменке. Впереди, раскачиваясь в седле, ехал вож Ефим, замыкал цепь Левонтич. Покрытый росой луг так и искрился под лучами яркого утреннего солнца. Мокрая трава цепко хватала за ноги и оставляла на сапоге свои семена. Лошади шли «с-ходы», как ездят в дальнюю дорогу. Вот и луг кончился. От нашей ночевки остался назади только легкий дымок. Скит давно уже скрылся из глаз. Впереди густой лес, темной ратью залегший по Каменке. Вот и болото, и сквозь сетку деревьев уже блестит речное плесо. Где-то прокуковала лесная сирота-кукушка и смолкла.

Через Каменку переправились мы вброд, причем лошади усиленно фыркали, прядали ушами и обнаруживали все признаки душевного волнения. Черная точка отделилась от берега и поплыла вверх по реке. Мне было лень слезать с седла, и Павел Степанович бросился в мокрую траву. Остановка. Утренняя дрожь охватывает все члены. Даже бурка не спасает от горной свежести. Громкий выстрел раскатился по реке эхом, точно и лес и река вскрикнули от испуга. Из травы показалась

голова Павла Степаныча и опять скрылась: утка, видимо, только ранена. Минута томительного ожидания, и новый выстрел. Левонтич бежит по берегу и машет руками. Раненая утка волочит крыло по воде и быстро скрывается в осоке.

— Теперь шабаш, — замечает Ефим, удерживая насторожившихся лошадей на поводьях. — Подранок уйдет... Без собаки ничего не поделаешь: хоть наступи на нее.

Он говорил об утке-подранке без всякого сожаления, как охотник, и мне кажется, что сегодня ночью я видел другого Ефима. Теперь его захватила грубая зоологическая правда, и даже это удивительное лицо потеряло свой внутренний свет...

Утка-подранок так и скрылась, а мы поехали дальше. Тропинка начала забирать в гору и быстро скрылась в настоящем дремучем ельнике, где в самые большие летние жары сохраняется обильная влага, а наша тропинка, видимо, никогда не просыхала. Лошади начали вязнуть в грязи, и приходилось лавировать между деревьями. Камни, валежник, грязь по колено, — а деревья точно все теснее

и теснее сдвигаются, загораживая дорогу. Едешь, и вдруг точно живая рука протягивается и срывает шапку с головы. Следовавший за мной Левонтич каждый раз поднимал ее с земли, свешиваясь с седла, как настоящий джигит. В одном месте, когда мой серый с отчаянным усилием рванулся из трясины, та же деревянная рука схватилась за мое ружье и потащила с седла, — я удержался в седле, но новенький кожаный погон лопнул.

Чем дальше, тем путь делался труднее. Все ехали молча, предоставив все уменью привычных лошадей, а этому горному болоту не было конца-краю. Поезд растянулся; маленькая фигура Ефима мелькала далеко впереди.

— А чтоб ему пусто было, этому болоту! — ругался Павел Степаныч, хватаясь руками за лошадиную гриву. — И откуда здесь болоту взяться.

— В раменье завсегда так, — объяснял Левонтич. — Болота нет, а солнышко не хватает...

— Скоро выберемся из лесу?

— Версты с три еще будет...

— Три версты?! А чтоб ему пусто было...

Пьяному черту здесь только ездить.

И достались нам эти три версты... Измотавшиеся лошади дымились от пота. А вож Ефим все едет вперед, плавно раскачиваясь в своем высоком пастушьем седле. Если бы не проклятая грязь, можно было бы полюбоваться дремучим лесом. Ели так и несутся в небо своими стрелками-вершинами... Какая строгая северная красота в этом дереве! Что-то такое родное и близкое во всем пейзаже, что трудно поддается определению. Желтый мох расцвечен колеблющимися золотыми пятнами; кой-где топорщится бледно-зеленая трава; а вот и безыменные желтые цветики — они напоминают здесь заблудившихся в лесу детей... Хорошо в этом дремучем лесу, если бы не проклятая дорога.

— Кто по ней ездит? — спрашиваю я Левонитича.

— Да кому ездить... Лесообъездчики ездят, ну, еще так кто, а больше никого. Вот к петрову дню по ней на могилу отца Павла народ идет...

— И много?

— Близко тысячи будет... Со всех сторон

народ бредет.

Впереди что-то засветлело, и лес точно расступился. Это речка, и опять она, Дикая Каменка. Ефим остановился на самом берегу и поджидает нас.

— Пал Степаныч, надо здесь уху добывать, — кричит он, поднимаясь в седле.

— Чем? — спрашивает Павел Степаныч.

— А уж чем бог пошлет. Руки-то с собой...

— Харюзов ужо наловим, — объясняет Левонтич. — Должны быть...

— Да чем их будем ловить-то? — повторяю я вопрос.

— Да уж Ефим знает... Он спроста не скажет, не таковский человек. Голыми руками возьмет... Право! Опустит палец в воду, харюз подбежит, а он его и сцапает. Ого, вон и жаркое посвистывает...

Левонтич весь насторожился, как охотничья собака: в лесу раздался слабый свист рябчика. Мы спешили. Вож Ефим пошел вверх по Каменке, которая была здесь курам по колено. В одном месте, ниже от дороги, образовался омуток сажен в десять. Ефим остановился и поднял руку: харюз здесь. Началась

оригинальная ловля бойкой горной форели, ходившей в омуте одним руном. Сначала Ефим сделал на палке петлю из конского волоса и вытащил одного харюза, но это было долго ждать.

— Ну-ка, Левонтич, давай азиям, — скомандовал он. — Завязывай рукава, вот тебе и бредень.

Татарский азиям сослужил службу в лучшем виде. Ефим и Левонтич смочили его и пошли в заброд. Первая попытка дала всего несколько рыбок, потому что вода была светлая и рыба ускользала врассыпную. Ефим размутил воду, и следующие заброды давали по десятку. Левонтич торжествовал от ловкой выдумки и все посвистывал, подманивая рябчиков. Через полчаса у нас было уже тридцать семь штук харюзов — самая лучшая уха. Харюз до того нежен, что не выносит никакой перевозки и употребляется только на месте ловли. Чтобы перевезти его на расстояние каких-нибудь десяти верст, его нужно выпотрошить и переложить свежей травой.

Когда рыбная ловля кончилась, составил военный совет, где варить уху — здесь, на бе-

регу, или на Глухаре? Большинство голосов было за последнее.

— Версты с четыре будет, не больше, — объяснял Ефим, вглядываясь в синевшую впереди гору. — Там и ключик есть.

Мы с Левонтичем отправились за рябчиками и в каких-нибудь четверть часа убили четыре штуки. Горный уральский рябчик стоит горной форели — нежный, белый, с специальным горьким букетом.

Живые харюзы переложены были свежей травой, завернуты в мокрый азам и в таком виде поступили в дорожные «пайвы» [2], привязанные к седлу Ефима. Теперь нам предстоял подъем в гору. От Каменки с полверсты шла мелкая заросль, по местному «чепыжник», а за ней опять густой лес. Я был рад, что проклятая грязь наконец осталась далеко позади. И лес здесь казался веселее благодаря соснам и березам — смешанный лес всегда кажется красивее. Но давешняя грязь сменилась новым неудобством: лошадям приходилось иногда лепиться по сплошному камню. Того и гляди, что она или ногу ломает, или полетит кубарем вместе с седоком. Чем даль-

ше мы подвигались, тем больше нам попадалось таких камней. Мягкая тропинка составляла лишь отдельные «прогалызины». В одном таком месте вож Ефим остановился и показал глазами на тропу.

— С час места как прошел, — объяснил он.

На мягком грунте рельефно отпечатались широкие медвежьи лапы.

— Тоже не любит, подлец, в шубе-то своей по мокрой траве ходить, — объяснил Левонтич. — Лезет в гору по тропе... Уж только и смышлястый зверь!

Медвежьи следы тянулись на расстоянии целой версты, а потом исчезли, потому что начались опять камни. Лошади карабкались по ним, как козы. Попадались такие кручи, что мой серый на несколько мгновений останавливался в раздумье: идти или не идти. Но лошадь Ефима шла вперед ровным шагом, как хорошая заведенная машина, и серый, вероятно, устыдившись собственного малодушия, принимался карабкаться по камням с ожесточенной энергией.

Гора Глухарь — одна из высоких точек Среднего Урала, что-то около двух тысяч фу-

тов над уровнем океана. Она затерялась в глуши, так что бывают на ней одни охотники. Издали она даже и не кажется высокой, и только подъем на нее может служить убедительной мерой настоящей ее высоты. Как большинство уральских гор, Глухарь заканчивается довольно высоким каменным гребнем, шиханом. Мы сделали привал под самым шиханом, где оказался и медовый ключик. Стан был разбит в несколько минут, и сейчас же затрещал веселый огонек. Ефим принялся за чистку рыбы, Левонтич кипятил в походном котелке воду. Мы с Павлом Степанычем отдыхали после трудного подъема, растянувшись на бурке. Утреннее солнце смотрело во все глаза, и наливавшийся в воздухе летний зной не чувствовался только потому, что на такой высоте всегда дует ветер.

Уха из харюзов была уничтожена с приличной торжественностью, а затем оставалось залезть на самый шихан, высившийся сажен на тридцать. Лет двадцать тому назад я бывал на Глухаре, и мне захотелось проверить сохранившееся в памяти представление. С Глухаря открывался вид на зеленую горную

пустыню верст на сорок в любой конец. Взбираться на шихан приходилось по куче камней, образовавших так называемую россыпь. Издали эти камни казались не больше гех, какими мостят улицы, а вблизи они превращались в настоящие глыбы, так что приходилось карабкаться в некоторых местах при помощи рук. Подъем облегчался много тем, что все камни обросли лишайниками и нога не скользила. Каждая такая россыпь — результат тысячелетнего разрушения гребневых скал. Павлу Степанычу, при его массивности, подниматься было особенно трудно, и он несколько раз принимался отдыхать.

Вид с вершины шихана открывался такой, что даже дух захватывало. Налево глубоко западала Дикая Каменка, и я едва нашел место, где стоял скит, то есть нашел приблизительно. Кругом широкими валами расходились горы: Востряк, Два Шайтана, Шелковая, Веселые Горы, Глухарь — служили пунктом водораздела; Дикая Каменка несла свою воду в Камско-Волжский бассейн, а спускавшаяся с другого бока горы река Волчиха принадлежала уже Обскому. Замечательно было то, что в

поле зрения, захватывавшем около пятидесяти верст, не было ни одного жилого пункта, — это была специально уральская пустыня, охраняемая посессионным правом. Не будь это заколдованная заводская дача, здесь красовались бы десятки деревень, сел и разных лесных «половинок», как на Урале называют починки. За двадцать лет моего отсутствия эта пустыня не изменилась ни на волос, да, вероятно, останется такой и еще на двести лет. Правда, старые заводские курени успели зарости, и я напрасно искал их глазами, но на их место выступали ярко-зелеными заплатами новые.

— А это что там такое, на востоке? — спросил я, вглядываясь в вытянувшуюся среди лесов желтую ниточку верст за двадцать от нас. — Прииск не прииск, а что-то новое...

Павел Степаныч с трудом дышал от подъема и, сколько ни смотрел на восток, ничего не мог сказать.

На прииск как будто не похоже, да и нет в той стороне приисков; а впрочем, может быть, и прииск. Только очень уж правильная желтая ниточка, точно ножом отрезана... Нет,

какой там прииск.

Нас вывел из недоумения поднявшийся на шихан Ефим.

— А железная дорога... — спокойно объяснил он. — Она вон там, по загорам прошла.

— Это верно: машина, — подтвердил Левонтич, вылезая из-за камня.

Солнце стояло уже почти над самой головой, и даже здесь, на вершине горы, чувствовался зной. Небо было совершенно чисто, и только с полуденной стороны, надвигаясь, круглилась темная грозовая тучка. Горная панорама теперь открывалась во всей своей красоте и очерчивалась по горизонту туманной дымкой, точно была вставлена в раму.

— А куда ходят на могилку отца Павла? — спросил Павел Степаныч.

— Эвон Рябиновая гора вытянулась на полдень, так сейчас за ней, — коротко ответил Ефим, указывая гору. — Там и могилка...

— Нынче над ней крышу поставили, — объяснил Левонтич. — Прежде-то не позволяло начальство...

— Отец Павел у вас святым считается, Ефим?

— Угодник божий...

— Откуда же он попал сюда?

— А неизвестно, Пал Степаныч... Сказывают, что из солдат. В лесу проживал много лет... Зиму и лето ходил босой. К живому еще к нему народ ходил, ежели он позволял...

— А как же он мог не позволить.

— Да уж так... Раз к нему Зотов-заводчик собрался. Он, Зотов-то, нашего древлего благочестия был и хотел отца Павла видеть. Только выехал он не один, а с гостями, и все пьяные были... Ну, отец Павел и не допустил: три дня плутали вокруг Рябиновой, а отца Павла так и не нашли. Глаза всем отвел... Будущее предсказывал, ежели кто с молитвой да со смирением приходил.

— Что тут под петров день делается! — рассказывал Левонтнч. — Народищу тысяч до трех собирается. Из Москвы приезжают... Каждое согласие отдельно, и у каждого согласия своя служба. Везде налои, свечи, кадят, поют... А за главной службой кликуши учнут выкликать: одна страсть!

— Как узнали, что отец Павел угодник? — спросил Павел Степаныч.

— Видение было одному человеку, — коротко объяснил Ефим. — Бродяги убили отца-то Павла да и сволокли его в болото... Ну, пропал он без вести, и только. Года с три этак время прошло, а потом и было видение. Пошли его искать и нашли в болоте, а потом под Рябиновой горой и схоронили. Я так полагаю, — прибавил Ефим уже другим тоном, — отнимут его у нас православные... Выстроят часовню над могилой, и все тут. И теперь уж много православных ходит на могилку-то...

Спускаясь с Глухаря, я прощался с медвежьим углом навсегда: больше не придется быть здесь...

Примечания

Выскарь — корни поваленного дерева, когда они образуют терновый щит (авт.).

[^^^]

Пайвы — дорожные переметные сумы, плетенные из бересты (авт.).

[^^^]